Веселые похороны

Автор:
Людмила Улицкая

Веселые похороны

Людмила Евгеньевна Улицкая

Долгое прощание с жизнью. Последние дни обаятельного художника Алика, бывшего москвича, теперь американца (да он везде свой, что на Трубной, что в Манхэттене). Окруженный бывшими и нынешними женами, дальними и ближними друзьями, неизлечимо больной Алик соединяет первую любовь с последней, мирит давно поссорившихся друзей, православного батюшку с раввином, даже после смерти остается центром созданной им вселенной…

Людмила Улицкая

Веселые похороны

© Улицкая Л.Е

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

1

Жара стояла страшная, влажность стопроцентная. Казалось, весь громадный город, с его нечеловеческими домами, чудесными парками, разноцветными людьми и собаками, подошел к границе фазового перехода и вот-вот полужидкие люди поплывут в бульонном воздухе.

Душ был все время занят: ходили туда по очереди. Одежду давно уже не надевали, только Валентина не снимала лифчика, потому что если отпустить ее огромную грудь болтаться на свободе, то от жары под ней образовывались опрелости. В обычную погоду она лифчиков никогда не носила. Все были мокрыми, вода с тел не испарялась, полотенца не сохли, а волосы можно было высушить только феном.

Жалюзи были полуоткрыты, свет падал полосатыми прядями. Кондиционер не работал уже несколько лет.

Баб в комнате было пять. Валентина в красном бюстгальтере. Нинка в длинных волосах и золотом кресте, исхудавшая так, что Алик ей сказал:

– Нинка, ты стала как корзинка. Для змей.

Корзинка эта стояла тут же, в углу. Алик когда-то по молодости лет ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки.

Еще была соседка Джойка, прибившаяся к дому дурная итальянка, нашедшая себе столь странное место для изучения русского языка. Она все время на кого-нибудь обижалась, но, поскольку ее замысловатых обид никто не замечал, ей приходилось всех великодушно прощать.

Ирина Пирсон, в прошлом цирковая акробатка, а ныне дорогостоящий адвокат, сверкала художественно подбритым лобком и совершенно новой грудью, сделанной не знающими колебаний американскими хирургами ничуть не хуже старой, и ее дочка Майка, по прозвищу Тишорт, пятнадцатилетняя, неопределенно-толстенькая, в очках и единственная из всех прикрытая одеждой, сидела на корточках в углу. На ней были толстые бермуды и, соответственно, майка. На майке была нарисована электрическая лампочка и люминесцентная надпись на неизвестно каком языке: «PIZДЕЦ!». Это Алик сделал ей ко дню рождения в прошлом году, когда его руки еще кое-как двигались…

Сам Алик лежал на широкой тахте, такой маленький и такой молодой, как будто сын самого себя. Но детей как раз у них с Нинкой не было. И ясно, что уже не будет. Потому что Алик умирал. Какой-то медленный паралич доедал последние остатки его мускулатуры. Руки и ноги его лежали смиренно и неодушевленно и даже на ощупь были не живыми и не мертвыми, а подозрительно промежуточными, как застывающий гипс. Самым живым в нем были волосы, рыжие, праздничные, густой щеткой вперед, да раскидистые усы, которые стали великоваты его исхудавшему лицу.

Вот уже две недели, как он был дома. Сказал врачам, что не хочет умирать в больнице. Были и еще причины, о которых они не знали и знать не должны были. Хотя даже врачи в этой скоростной, как забегаловка, больнице, которые в лицо больным заглянуть не успевали, а смотрели только в рот, в задницу или у кого там что болит, его полюбили.

А дома у них был проходной двор. Толпились с утра до ночи, и на ночь непременно кто-то оставался. Помещение здесь было для приемов отличное, а для нормальной жизни – невозможное: лофт, переоборудованный склад с отсеченным торцом, в который были загнаны крошечная кухня, сортир с душем и узкая спальня с куском окна. И огромная, в два света, мастерская.

В углу, на ковре, ночевали поздние гости и случайные люди. Иногда человек пять. Собственно двери в квартиру не было, вход был прямо из грузового лифта, поднимавшего сюда, до въезда Алика, кипы табака, призрачно присутствовавшего здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не двадцать лет тому назад, подписал не глядя какой-то контракт, как потом оказалось, страшно выгодный. И по сей день Алик платил за квартиру сущую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно никаких не было – и ерунды даже.

Щелкнул лифт. Вошел Фима Грубер, стаскивая с себя на ходу простецкую голубую рубашку. Внимания на него голые женщины не обратили, да и он глазом не повел. При нем был докторский саквояж, старинный, дедовский, привезенный из Харькова. Фима был врач в третьем колене, широко образованный и оригинальный, но дела его складывались не блестящим образом, здешних экзаменов он еще не сдал и работал временно, уже пятый год, чем-то вроде квалифицированного лаборанта в дорогой клинике. Он заезжал каждый день, как будто надеясь, что ему повезет и он окажется Алику чем-нибудь полезным. Он склонился над Аликом:

– Как дела, старик?

– А-а, ты… Расписание привез?

– Какое расписание? – удивился Фима.

– На паром… – слабенько улыбнулся Алик.

«Дело к концу, – подумал Фима. – Сознание начинает мешаться».

И он вышел в кухню, загромыхал в холодильнике примерзшими кассетами со льдом.

«Идиоты, какие же все идиоты. Ненавижу», – подумала девочка.

Она недавно проходила греческую мифологию и единственная из всех догадалась, что Алик имеет в виду не South Ferry. Со злым и высокомерным лицом она подошла к окну, отогнула край жалюзи и стала смотреть вниз. Там всегда что-нибудь происходило.

Алик оказался первым взрослым, кого она удостоила общением. Как и многих американских детей, с малолетства таскали по психологам, и не без оснований. Она разговаривала только с детьми, с большой неохотой делала исключение для матери, остальные взрослые для нее просто не существовали. Учителя принимали ее работы в письменном виде, выполнены они были точно и лаконично. Ей ставили высшие баллы и пожимали плечами. Психологи и психоаналитики строили сложные и весьма фантастические гипотезы о природе ее странного поведения. Нестандартных детей они любили, это был их хлеб.

Познакомилась она с Аликом на вернисаже, куда мать притащила свою неуклюжую девочку. Они тогда только-только переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, и потерявшая сразу всех друзей Тишорт согласилась пойти с матерью. С Аликом ее мать была знакома со времен ее цирковой юности, еще по Москве, но в Америке они много лет не виделись. Так долго, что Ирина совершенно перестала думать, что именно она ему скажет, когда они встретятся. В тот день, когда они встретились на вернисаже, он левой рукой взял ее за пиджачную пуговицу с толстым, как курица, орлом, резким поворотом оторвал ее, подбросил

и поймал. Потом раскрыл ладонь и мельком взглянул на сияющего орла:

– Придется сказать тебе одну вещь.

Правая рука его висела вдоль тела как неживая. Левой он прижал Иринину густо-русую голову, волосок к волоску причесанную, с черным шелковым бантом в натуральных жемчужинах по краю, и шепнул ей в ухо:

– Ирка, я скоро помру.

Казалось бы, ну и помри. Ты для меня уже давно умер… Но она ощутила прикосновение узкого и тонкого металлического лезвия под ложечкой, и медленное его движение внутрь, и острую боль по всему разрезу до позвоночника. Рядом стояла дочка и смотрела во все глаза.

– Зайдем ко мне, – предложил Алик.

– Я с дочкой. Не знаю, захочет ли она. – Ирина посмотрела на Тишорт.

Девочка давно уже с ней никуда не ходила. Ирина еле уговорила ее пойти на эту выставку. Она спросила у дочери, совершенно уверенная, что та откажется:

– Хочешь, зайдем в ателье к моему знакомому художнику?

– К этому рыжему? Хочу.

И они зашли. Картины, хотя были явно недавние, очень напоминали прежние. А через несколько дней зашли еще раз, почти случайно, – мимо проходили. Тогда Ирину вызвали на какое-то важное деловое свидание, и она оставила Тишорт в мастерской часа на три, а вернувшись, застала невероятную картину: они орали друг на друга, как две разгневанные птицы. Алик размахивал левой рукой, правая уже съежилась и почти не действовала, он приседал и немного подпрыгивал:

– Да неужели тебе в голову не приходило, что все дело в асимметрии? Все дело в этом! Симметрия – смерть! Полная остановка! Короткое замыкание!..

– Да не ори ты! – кричала покрасневшая всеми веснушками Тишорт, и акцент был сильнее обычного. – А если мне нравится? Просто нравится! Почему вы всегда-всегда правы?

Алик опустил руку:

– Ну, знаешь…

Ирка едва в обморок не упала у лифта. Алик, сам того не зная, в два счета разрушил ту странную форму аутизма, которым страдала ее девочка лет с пяти. Старое злое пламя вспыхнуло в ней, но сразу же и погасло: чем таскать дочку по психиатрам, не лучше ли предоставить ей возможность человеческого общения, которого ей так не хватало…

2

Снова щелкнул лифт. В дверном проеме Нинка увидела новую посетительницу и вылетела навстречу, натягивая черное кимоно.

Маленькая, редкой толщины тетка, заботливо поставив между колен раздутую хозяйственную сумку, с пыхтеньем усаживалась в низкое кресло. Была она вся малиновая, дымящаяся, и казалось, щеки ее отливали самоварным сиянием.

– Марья Игнатьевна! Я вас третий день жду!

Тетка села на самый край сиденья, растопырив розовые ноги в подследниках, которые на этом континенте не водились.

– А я, Ниночка, вас не забываю. Все время с Аликом работаю. Вчера с шести вечера его держала… – Она поднесла к Нинкиному лицу треугольные пальчики с дистрофичными зеленоватыми ногтями. – Веришь ли, такое напряжение, у самой-то давление стало, еле хожу… Жара эта проклятая еще… Вот, принесла последнее…

Она вынула из матерчатой сумки три темные бутыли с густой жижей.

– Вот. Натирку новую сделала и дыхалку. А эта – на ноги. Тряпочку намочишь и к стопочкам приложишь, а сверху мешочек цельнофановый, и завяжи. Часа на два. А что кожица сойдет, это ничего. Как снимешь, так и обмой сразу.

Нинка молитвенно смотрела на это чучело и на ее снадобье. Взяла бутылки. Одну, что поменьше, прижала к щеке – прохладная. Понесла в спальню. Опустила жалюзи и поставила бутылки на узкий подоконник. Там уже была целая батарея.

А Марья Игнатьевна взялась за чайник. Она была единственным человеком, который мог пить чай в такую жару, и не американский, ледяной, а русский, горячий, с сахаром и вареньем.

Пока Нинка, тряся своими длинными волосами, с которых вроде бы сошла позолота и обнажилось глубокое серебро, наматывала Алику на ноги компрессы, укрывала легкой простыней в псевдошотландскую, никакому клану не принадлежащую клетку, Мария Игнатьевна беседовала с Фимой. Он интересовался ее результатами. Она смотрела на него с великодушным презрением:

– Ефим Исакыч! Фимочка! Какие результаты! Землей же пахнет… Однако всё в Божьих руках, вот что я скажу. Уж я такого навидалась. Вот уходит, совсем уж уходит, ан нет, не отпускает его. В траве-то какая сила! Камень пробивает. Верхушечка-то… Вот я ее, верхушечку, и беру, и от корешка беру верхушечку… Другой раз, бывает, уж совсем к земле пригнулся, а смотришь – встает. В Бога надо веровать, Фима. Без Бога и трава не растет!

– Это точно, – легко согласился Фима и потер левую щеку, покрытую воронкообразными следами юношеских гормональных боев.

Про положительный фототаксис растений, о котором смутно и таинственно вещала толстуха с мягким, как будто тряпочным лицом, он знал из курса ботаники за пятый класс, но поскольку он был все-таки специалистом, то знал также, что чертова Аликова болезнь никуда не денется: последняя работающая мышца, диафрагмальная, уже отказывает и в ближайшие дни наступит смерть от удушья. Местная проблема, которая вставала в таких случаях, – когда отключить аппарат, – была решена Аликом заблаговременно: он ушел из больницы под самый конец и отказался, таким образом, от жалкого довеска

искусственной жизни.

Фиму теперь удручала мысль, что, вероятно, именно ему придется в какой-то момент ввести Алику снотворное, которое снимет страдания удушья и своим побочным действием – угнетением дыхательного центра – убьет… Но делать было нечего – положить Алика в госпиталь по «скорой помощи», как делали уже дважды, теперь вряд ли было возможно. А снова искать фальшивый документ хлопотно и опасно…

– Удачи вам, – мягко сказал Фима и, прихватив известный саквояж, ушел не прощаясь.

«Обиделся он, что ли?» – подумала Марья Игнатьевна.

Она в здешней жизни мало понимала. Приехала год назад из Белоруссии, по вызову больной родственницы, но пока оформляла документы, пока сюда добиралась, лечить уж было некого. Так и перемахнула она через океан со своей чудодейственной силой и контрабандной травкой понапрасну. То есть не совсем понапрасну, потому что и здесь нашлись любители ее искусства, и она занялась противозаконной нелицензированной деятельностью, не боясь никаких неприятностей. Только все удивлялась: что это у вас за порядки тут, я лечу, можно сказать, с того света вынимаю, чего мне бояться… Объяснить ей ни про лицензии, ни про налоги никто не мог. Нинка подцепила ее в маленькой православной церкви на Манхэттене и сразу же решила, что ей знахарку Бог послал для Алика. В последние годы, еще до Аликовой болезни, Нинка обратилась в православие, чем нанесла большой удар по мракобесию: любимое свое развлечение, карты Таро, сочла за грех и подарила Джойке.

Марья Игнатьевна поманила Нинку пальцем. Нинка метнулась на кухню, налила в стакан апельсинового сока, потом водки, бросила горсть круглых ледышек. Питье ее было давно на местный манер: слабое, сладковатое и беспрерывное. Она поболтала палочкой, глотнула. Марья Игнатьевна тоже поболтала – ложкой в чашке с чаем – и положила ложку на стол.

– Вот слушай-ка, чего тебе скажу, – строго сказала она. – Крестить его надо. Всё. Иначе – ничего не поможет.

– Да не хочет он, не хочет, сколько раз я тебе говорила, Марья Игнатьевна! – взвилась Нинка.

– А ты не ори, – нахмурилась Марья Игнатьевна безбровым лицом, – уезжаю я. Бумага эта самая у меня уж давно кончилась. – Она имела в виду давно просроченную визу, но ни одного иностранного слова запомнить не умела. – Кончилась бумага-то. Уезжаю. Мне уж и билет прокомпостировали. Если ты его не крестишь, я его брошу. А крестишь, Нин, я с ним работать буду, хоть оттуда, хоть как… А так не смогу… – И она театрально развела ручками.

– Ничего я не могу сделать. Не хочет он. Смеется. Пусть, говорит, твой Бог меня беспартийного примет, – опустила Нина свою слабую маленькую головку.

Марья Игнатьевна выпучилась:

– Нин, ты что? Вы здесь как в лесу живете. Да на что же Господу Богу партийные?

Нинка махнула рукой и допила свое пойло. Марья Игнатьевна налила еще чайку.

– Я о тебе жалею, деточка. У Бога обителей много. Я хороших людей разных видела, и евреев, и всяких. На всех наготовлено. Вот мой Константин убиенный – крещеный и ждет меня, где всем положено. Я, конечно, не святая, да и пожить-то мы с ним пожили всего два года, я вдовой в двадцать один год осталась. Было кой-чего, не скажу, грешна. Но другого мужа у меня не было. И он ждет меня там. Поняла, о чем я забочусь? А то порознь будете, там-то. Ты крести его хоть так, хоть втемную… – увещевала Марья Игнатьевна.

– Как – втемную? – переспросила Нина.

– Идем-ка отсюдова, от народу, – зашипела со значением Марья Игнатьевна, и, хотя народ весь толпился возле Алика, а в кухоньке никого не было, она затолкала Нинку в уборную, села на унитаз, накрытый розовой крышкой, а Нинку усадила на пластиковый короб для грязного белья. Здесь, в самом неподходящем месте, Нинка и получила все необходимые наставления…

Вскоре пришла Фаина, крепкая, как щелкунчик, с деревянным лицом и проволочной белесой соломой на голове. Она была из свеженьких, но быстро прижилась.

– Фотоаппарат купила, – с порога заявила она, входя к Алику и размахивая над его неподвижной головой новенькой коробочкой. – «Полароид»! С обратимой пленкой! Ну, давайте же фотографироваться!

Для нее в этой стране было много такого, чего она еще не попробовала, и она торопилась поскорее всего накупить, надкусить, оценить и иметь по любому поводу мнение.

Валентина помахала над Аликом простыней. Но ему, единственному из всех, не было жарко. Валентина сбросила простыню и, залезши за спину Алика, села, опершись об изголовье. Подтянула его повыше, прижала его темно-рыжую голову к самому солнечному сплетению, туда, где, по словам покойной бабушки, жительствовала «душка». И вдруг слезы брызнули от жалости к Алику, к его бедной голове, так беспомощно ткнувшейся ей под грудь. Как ребенок, который еще не держит головки. Никогда за время их долгого романа не испытывала она такого острого и живого чувства: держать его в руках, на руках, а еще лучше – спрятать его в самую глубину своего тела, укрыть от проклятой смерти, которая уже так явно коснулась его рук и ног.

– Девки, в кучу собирайтесь, петушок пропел давно! – крикнула она улыбчивыми губами, стерев ладонью пот со лба и слезы со щеки. На плечи Алику она вывесила свои знаменитые груди в красной упаковке, сбоку на кровать села Джойка, согнув Аликову ногу в колене и придерживая ее плечом. С другой стороны, для фотографической симметрии, присела Тишорт.

Файка долго крутила фотоаппарат, не могла найти видоискатель, а когда заглянула в него, то фыркнула:

– Ой, Алик, муде на первом плане. Прикройте.

На самом деле на первом плане были трубочки мочеприемника.

– Ну вот еще, такую красоту прикрывать, – возразила Валентина, и Алик двинул уголком рта.

– Мало проку от этой красоты, – заметил он.

– Файка, погоди, – попросила Валентина и, подсунув под Аликову спину две большие русские подушки из Нинкиного генеральского приданого, прошла прямо по кровати к изножью и отклеила от нежного места розовый пластырь, на котором крепилась вся амуниция.

– Пусть отдохнет немножко, на воле побегает…

Алик любил всякие шутки и второсортным тоже улыбался. Делала все Валентина быстро, опытной рукой. Бывают такие женщины, у которых руки все наперед знают, их и учить ничему не надо, медсестры от рождения.

Тишорт не выдержала и вышла из комнаты. Хотя она еще в прошлом году все испробовала сначала с Джеффри Лещинским, а потом с Томом Кейном и пришла к выводу, что никакой секс ей даром не нужен, почему-то от манипуляции с катетером ее дернуло. Как она его рукой взяла… Чего они все к нему так липнут…

Душ был как раз свободен. Она стянула шорты. Через ткань ощутила прямоугольную коробочку. Свернула все аккуратно, чтобы не выпало. Инструкцию она помнила наизусть. Сегодняшнюю ночь она провела возле Алика. Не всю, несколько часов. Нинка вырубилась и спала в мастерской, а Алик не спал. Он попросил ее, и она все сделала, как он хотел, и теперь эта коробочка была доказательством того, что именно она и есть его самый близкий человек.

Вода была не холодная, трубы сильно прогревались в такую жару. Все полотенца мокрые. Она обтерлась кое-как, нацепила на влажное тело одежду и выскользнула из квартиры: ей не хотелось с ними фотографироваться, вот что она поняла.

Она вышла к Гудзону, потом свернула в сторону парома и все думала о единственном нормальном взрослом человеке, который как будто назло ей собирается умирать, чтобы опять оставить ее одну со всеми этими многочисленными идиотами – русскими, еврейскими, американскими, – окружающими ее с самого рождения…

3

Со зрением у Алика что-то происходило: оно и угасало, и обострялось одновременно. Все слегка укрупнилось и изменило плотность. Лица подруг вдруг стали жидковаты и предметы слегка текучи, но струение это было скорее приятным, к тому же оно по-новому выявило связи между предметами. Угол комнаты был взрезан одинокой старой лыжей, грязные белые стены бодро разбегались от нее в разные стороны. Это движение стен сдерживала женская фигура, сидящая на полу по-турецки и касающаяся затылком зыбкой стены. Самая прочная часть всей картины и была как раз эта точка соприкосновения женской головы и стены.

Кто-то подобрал снизу жалюзи, свет упал на темную жижу в бутылках, и она засветилась зеленым и темно-золотым. Жидкость стояла на разных уровнях, и в этом бутылочном ксилофоне он узнал вдруг свою юношескую мечту. В те годы он написал множество натюрмортов с бутылками. Тысячи бутылок. Может быть, даже больше, чем выпил… Нет, выпил все-таки больше. Он улыбнулся и закрыл глаза.

Но бутылки никуда не делись: побледневшими зыбкими столбиками они стояли в изнанке век. Он понимал, что это важно. Мысль ползла медленно и огромно, как рыхлая туча. Эти бутылки, бутылочные ритмы. И ведь музыка звучала… Скрябинская светомузыка, как оказалось при рассмотрении, была полным фуфлом – механистично и убого. Он тогда стал изучать оптику и акустику. И этим ключом тоже ничего не открывалось. Натюрморты его были не то чтобы плохие, но совершенно необязательные. К тому же он и Моранди тогда не знал.

Потом все эти натюрморты как ветром разнесло, ничего не осталось. Где-нибудь в Питере, может, сохранились у тогдашних друзей или у Казанцевых в Москве… Господи, как же тогда пили. И бутылки собирали. Обыкновенные сдавали на обмен, а заграничные или старинные, цветного стекла, сохраняли.

И те, что стояли тогда на краю крыши, на ее жестяном отвороте, были темного стекла, из-под чешского пива. Кто поставил, так потом и не вспомнили. Из казанцевской кухни была дверка низкая в мезонин, а из мезонина – окно на крышу. Из этого окна и выпорхнула на крышу Ирка. Ничего особенного в этом не было: по этой крыше без конца бегали, и плясали, и загорали на ней. Она

сползла на заду вниз по скату, а когда встала, на белых джинсах отчетливо были видны два темных пятна во все ягодицы. Она стояла на самом краю крыши, чудесная легконогая девчонка. Бог послал их друг другу для первой любви, и они все делали по-честному, без халтуры, до звона в небе.

Когда строгий дед, потомственный циркач, выгнал Ирку из труппы за то, что она прогуляла репетицию, сорвавшись с Аликом в Питер на два дня, они тут, в мезонине у Казанцевых, и поселились и жили к тому времени уже три месяца, изнемогая под бременем все растущего чувства… А в тот день пришел в гости знаменитый молодежный писатель, взрослый, с двумя бутылками водки. Он был симпатичный. И Ирка дернула плечом чуть не так, и посмотрела вкось, и что-то сказала немного более низким, чем обычно, голосом, и Алик шепнул ей:

– Зачем ты кокетничаешь? Это пошло. Если он тебе нравится, дай.

Он ей и вправду понравился.

– Нет, не в том смысле. А если в том, то совсем немножко, – говорила она потом Алику.

Но в ту минуту от злости и от жестокой справедливости его слов она выскочила в окошко и съехала на заднице к краю крыши, а потом встала во весь рост рядом с бутылками и присела на корточки – еще никто не смотрел в ее сторону, кроме Алика, – обхватила пальцами горлышки крайних бутылок и сделала на них стойку. Острые носки ее туфель замерли на фоне лиловеющего неба. Те, кто сидел лицом к окну, увидели стоящую на руках Ирку и замолчали.

Писатель, ничего не заметивший, рассказывал байку об украденной генеральской шинели и сам себе похохатывал.

Алик сделал шаг к окну… А Ирка уже шла на руках по бутылкам. Она обнимала горлышко бутылки двумя руками, потом отрывала одну руку, нащупывала следующую бутылку и, ухватившись за нее, переносила на нее тяжесть своего напряженного тела… Писатель еще немного побасил и осекся. Почувствовал: что-то происходит за спиной. Он оглянулся и дрогнул начинающими полнеть щеками – он не переносил высоты. Дом-то был ерундовый, полутораэтажный, высотой метров в пять. Но физиология куда как сильней арифметики.

Руки у Алика стали мокрыми, по спине струйкой тек пот. Нелька Казанцева, хозяйка дома, тоже баба шальная, загрохотав вниз по деревянной лестнице, бросилась на улицу.

Медленно, царапая носками туфель затвердевшее от страха небо, Ирка добралась до последней бутылки, ловко поджала ноги, села на крышу и соскользнула вниз по хлипкой водосточной трубе. Нелька уже стояла внизу и кричала:

– Беги! Беги скорей!

Она видела выражение лица Алика, и реакция у нее оказалась самая быстрая. Ирка метнулась в сторону Кропоткинской, но было уже поздно. Алик схватил ее за волосы и врезал оплеуху…

Еще два года они промаялись, все не могли расстаться, но на этой оплеухе кончилось все самое лучшее. А потом расстались, не сумевши ни простить, ни разлюбить. Гордость была дьявольская – в тот вечер она таки ушла с писателем. Но Алик тогда и бровью не повел.

Ирка первой подвела черту: нанялась в труппу воздушных гимнастов, в чужую, в конкурентную, дед ее проклял, и она уехала на большие гастроли на все лето, с шапито. Алик же сделал тогда первую эмиграционную пробу – переехал в Питер…

Алик открыл глаза. Он еще чувствовал жар, идущий от нагретой крыши ветхого особнячка в Афанасьевском, и мышцы еще как будто отзывались на бурный пробег по деревянной лестнице казанцевского дома, и это воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он успел разглядеть такие детали, которые вроде бы давно растворились: треснутую чашку с портретом Карла Маркса, из которой пил хозяин дома, потерянное вскоре кольцо с мертвой зеленой бирюзой в эмалевом темно-синем касте на Иркиной руке, белую породистую прядь в темной голове десятилетнего казанцевского сына…

Солнце уже шло на закат, в Нью-Джерси, свет косил из окна прямо на Алика, и он жмурился. Джойка сидела на постели возле него, читала по его просьбе «Божественную комедию» по-итальянски и довольно коряво пересказывала

каждую терцину по-английски. Алик не открыл ей, что довольно прилично знает итальянский: жил когда-то почти год в Риме, и этот веселый чокающий язык без труда отпечатался в нем, как след руки в глине. Но теперь ничего не значили его дарования – ни хваткая память, ни тонкий музыкальный слух, ни талант художника. Все это он уносил с собой, даже дурацкое умение петь тирольские песни и первоклассно играть на бильярде…

Валентина массировала его пустую ногу, и ей казалось, что в мышцах немного прибавляется жизни.

Пока он был в сонном забытьи, приехал Аркаша Либин с новым кондиционером и относительно новой подружкой Наташей. Либин был любителем некрасивых женщин, и притом совершенно определенного типа: субтильных, с большими лбами и маленькими ротиками.

– Либин стремится к совершенству, – еще недавно шутил Алик. – Наташке в рот чайная ложка еле пролезает, а следующую он будет кормить одними макаронами.

Либин был намерен сегодня снять сломанный кондиционер и установить новый и собирался сделать это в одиночку, хотя даже специалисты работали обыкновенно в паре.

Обещающая успех русская самоуверенность. Он переставил бутылки с подоконника на пол, снял жалюзи, и в ту же секунду, как будто сквозь образовавшуюся дыру, с улицы хлынула ненавистная Алику латиноамериканская музыка. Уже вторую неделю весь квартал донимали шестеро южноамериканских индейцев, облюбовавших себе угол прямо под их окнами.

– Нельзя ли их как-нибудь заткнуть? – тихо спросил Алик.

– Проще тебя заткнуть, – отозвалась Валентина и нацепила на Алика наушники.

Джойка в обиженном недоумении посмотрела на Валентину. На этот раз она обиделась еще и за Данте.

Валентина поставила ему джаплиновский регтайм. Слушать эту музыку он научил ее во времена тайных встреч и ночных блужданий по городу.

– Спасибо, зайка, – дрогнул веками Алик.

Всех их он звал зайками и кисками. Большинство их приехали с двадцатью килограммами груза и двадцатью английскими словами в придачу и совершили ради этого перемещения сотни крупных и мелких разрывов: с родителями, профессией, улицей и двором, воздухом и водой и, наконец, что осознавалось медленнее всего, – с родной речью, которая с годами становилась все более инструментальной и утилитарной. Новый, американский язык, приходящий постепенно, тоже был утилитарным и примитивным, и они изъяснялись на возникшем в их среде жаргоне, умышленно усеченном и смешном. В это эмигрантское наречие легко входили обрезки русского, английского, идиш, самое изысканное чернословие и легкая интонация еврейского анекдота.

– Боже ж мой, – ёрничала Валентина, – это же гребаный кошмар, а не музыка! Уже закрой свою форточку, ингеле, я тебе умоляю. Что они себе думают, чем пойти покушать и выпить и иметь полный фан и хороший муд? Они делают такой гевалт, что мы имеем от них один хедик.

Обиженная Джойка, оставив на кровати красный томик флорентийского эмигранта, ушла к себе, в соседний подъезд. Мелкоротая Наташа варила на кухне кофе. Валентина, переложив Алика на бок, терла ему спину. Пролежней пока не было. Мочеприемник больше не надевали – кожа сгорала от пластырей. Подмокших простыней накопилась куча, Файка собрала их и пошла в прачечную, на уголок. Нинка дремала в кресле в мастерской, не выпуская из рук стакана.

Либин безуспешно возился с кондиционером. Не хватало крепежной планки, и он родным российским способом пытался из двух неподходящих длинных сделать одну короткую, не прибегая к помощи инструментов, которые он забыл дома.

Долго отступавшее солнце закатилось наконец, как полтинник за диван, и в пять минут наступила ночь. Все разошлись, и впервые за последнюю неделю Нинка осталась с мужем наедине. Каждый раз, когда она подходила к нему, она заново ужасалась. Несколько часов сна, усиленного алкоголем, давали душе отдых: во сне она полно и с наслаждением забывала об этой редкой и особенной болезни, которая напала на Алика и скручивала его со страшной силой, а просыпаясь, каждый раз надеялась, что все это наваждение ушло, и Алик, выйдя ей навстречу, скажет свое обычное: «Зайка, а что это ты тут делаешь?»

Но ничего такого не происходило.

Она вошла к нему, прилегла рядом, покрыв волосами его угловатое плечо. Похоже, он спал. Дыхание было трудным. Она прислушалась. Не открывая глаз, он сказал:

– Когда эта проклятая жара кончится?

Она встрепенулась, метнулась в угол, куда Либин составил полное собрание сочинений Марьи Игнатьевны в семи бутылках. Вытащила самую маленькую из бутылочек, свинтила с нее пробку и сунула Алику под нос. Запахло нашатырем.

– Легче? Легче, да? – затребовала Нинка немедленного ответа.

– Вроде легче, – согласился он.

Она снова легла с ним рядом, повернула его голову к себе и зашептала в ухо:

– Алик, прошу тебя, сделай это для меня.

– Что? – Он не понимал или делал вид, что не понимает.

– Крестись, и все будет хорошо, и лечение поможет. – Она взяла в обе руки его расслабленную кисть и слабо поцеловала веснушчатую руку. – И страшно не будет.

– Да мне и не страшно, детка.

– Так я приведу священника, да? – обрадовалась она.

Алик собрал свой плывущий взгляд и сказал неожиданно серьезно:

– Нин, у меня нет никаких возражений против твоего Христа. Он мне даже нравится, хотя с чувством юмора у него было не все в порядке. Дело, понимаешь, в том, что я и сам умный еврей. А в крещении какая-то глупость, театр. А я театра не люблю. Я люблю кино. Отстань от меня, киска.

Нинка сцепила свои худущие пальцы и затрясла ими:

– Ну хотя бы поговори с ним. Он придет, и вы поговорите.

– Кто придет? – переспросил Алик.

– Да священник. Он очень, очень хороший. Ну прошу тебя… – Она гладила его по шее острым языком, потом провела по ключице, по прилипшему к костям соску тем приглашающим интимным жестом, который был принят между ними. Она его соблазняла в крещенье – как в любовную игру.

Он слабо улыбнулся:

– Валяй. Веди своего попа. Только с условием: раб-бая тоже приведешь.

Нинка обмерла:

– Ты шутишь?

– Почему же? Если ты хочешь от меня такого серьезного шага, я вправе иметь двустороннюю консультацию… – Он всегда умел из любой ситуации извлекать максимум удовольствия.

«Поддался, поддался, – ликовала Нинка. – Теперь крещу».

Со священником, отцом Виктором, давно было договорено. Он был настоятель маленькой православной церкви, человек образованный, потомок эмигрантов

первой волны, с крученой биографией и простой верой. Характера он был общительного, по натуре смешлив, охотно ходил в гости к прихожанам, любил и выпить.

Откуда берутся раввины, Нинка понятия не имела. Круг их друзей был вовсе не связан с еврейской общиной, и следовало поднапрячься, чтобы обеспечить Алика раввином, если уж это необходимое условие.

Часа два Нина возилась с травяными примочками, снова ставила компрессы на ступни, растирала грудь пахучей резкой настойкой и в три ночи сообразила, что Ира Пирсон недавно, смеясь, говорила, что из всех здешних евреев она одна-единственная русская, умеющая приготовить рыбу-фиш, потому что была замужем за настоящим евреем с субботой, кошером и всем, что полагается.

Вспомнив, Нинка немедленно набрала ее номер, и та обмерла, услышав среди ночи Нинкин голос.

«Всё», – решила она.

– Ир, слушай, у тебя был муж еврей религиозный? – услышала она в трубке дикий вопрос.

«Напилась», – подумала Ира. – Да.

– А ты не могла бы его разыскать? Алик раббая хочет. «Нет, просто совсем сошла с ума», – решила Ира и сказала осторожно:

– Давай завтра об этом поговорим. Сейчас три часа ночи, я в такое время все равно никому позвонить не могу.

– Ты имей в виду, это очень срочно, – совершенно ясным голосом сказала Нинка.

– Я завтра вечером заеду, о’кей?

Ирина испытывала к Нине глубокий интерес. Возможно, это и была настоящая причина, почему она тогда, полтора года назад, согласилась зайти к нему в

мастерскую: посмотреть, что же это за чудо в перьях, которому достался Алик.

Алик был кумиром женщин едва ли не от рождения, любимцем всех нянек и воспитательниц еще с ясельного возраста. В школьные годы его приглашали на дни рождения все одноклассницы и влюблялись в него вместе со своими бабушками и их собачками. В годы отрочества, когда охватывает дикое беспокойство, что уже пора начинать взрослую жизнь, а она все никак не задается, и умненькие мальчики и девочки кидаются в дурацкие приключения, Алик был просто незаменим: принимал дружеские исповеди, умел и насмешить, и высмеять, а главное, редкостное, что от него шло, – совершенная уверенность, что жизнь начинается со следующего понедельника, а вчерашний день вполне можно и вычеркнуть, особенно если он был не вполне удачен. Позднее перед его обаянием не устояла даже инспекторша курса в театрально-художественном училище по прозвищу Змеиный Яд: четыре раза его выгоняли и три, хлопотами влюбленной инспекторши, восстанавливали.

При первом знакомстве Нина произвела на Ирину впечатление надменно-капризной дуры: потрепанная красавица сидела на грязном белом ковре и попросила ее не беспокоить – она складывала гигантский «паззл». При ближайшем рассмотрении Ирина сочла ее просто слабоумной, к тому же психически неуравновешенной: вялость у нее сменялась истериками, припадки веселья – меланхолией.

Впрочем, понять, почему он женился, еще можно было, но вот как он терпит столько лет ее доходящую до слабоумия глупость, патологическую лень и неряшливость… Она испытывала не запоздалую ревность, а глубокое недоумение. Ирина никогда не сталкивалась с тем женским типом, к которому принадлежала Нина: именно своей безграничной беспомощностью она возбуждала в окружающих, особенно в мужчинах, чувство повышенной ответственности.

У Нины, кроме того, была еще одна особенность: каждую свою прихоть, каприз или выдумку она доводила до предела. Например, она никогда не брала в руки денег. Поэтому Алик, уезжая, скажем, на неделю в Вашингтон, знал, что Нина не выйдет в магазин и предпочтет голодную смерть прикосновению к «гадким бумажкам». И он всегда забивал ей перед отъездом холодильник.

В России Нина никогда не готовила, так как боялась огня. Она увлекалась тогда астрологией и где-то вычитала, что ей, рожденной под знаком Весов, грозит

опасность от огня. С тех пор она уже больше не подходила к плите, объясняя это космической несовместимостью знака воздуха и стихии огня. Здесь, в ателье, где вместо газовой плиты стояла электрическая и живой огонь она видела разве только на кончике спички, ее отвращение к стряпне не прошло, и Алик легко и с успехом справлялся с кухней.

Кроме денег и огня была еще одна вещь, уже вполне неосязаемая, – безумный, до столбняка, страх перед принятием решения. Чем незначительней был предмет выбора, тем больше она мучилась. Ирина однажды, получив кучу бесплатных билетов от своей клиентки-певицы, по просьбе Тишорт пригласила Алика с Нинкой в театр. Они заехали за ними и оказались свидетельницами того, как Нинка до изнеможения перемеряла свои маленькие узкие платьица и нарядные туфли, а потом бросилась в постель и сказала, что она никуда не пойдет. И плакала в подушку, пока Алик, избегая смотреть в сторону невольных свидетельниц, не положил рядом с Нинкой какого-то платья наугад и не сказал ей:

– Вот это. К опере бархат все равно что сосиски к пиву.

Тишорт, кажется, получила от этого представления больше удовольствия, чем от посредственной оперы.

Ирина хорошо знала цену прихоти и капризу: этим была полна ее юность. Но в отличие от Нины у нее за спиной было цирковое училище. Умение ходить по проволоке очень полезно для эмигранта. Может быть, именно благодаря этому умению она и оказалась самой удачливой из всех… Ступни режет, сердце почти останавливается, пот заливает глаза, а скулы сведены безразмерной оскальной улыбкой, подбородок победоносно вздернут, и кончик носа туда же, к звездам, – все легко и просто, просто и легко… И зубами, когтями, недосыпая восемь лет ровно по два часа каждый день, вырываешь дорогостоящую американскую профессию… И решения приходится принимать по десять раз на дню, и давно взято за правило – не расстраиваться, если сегодняшнее решение оказалось не самым удачным.

«Прошлое окончательно и неотменимо, но власти над будущим не имеет», – говорила она в таких случаях. И вдруг оказалось, что ее неотменимое прошлое имеет какую-то власть над ней.

Ни о будущей смерти, ни о прежней жизни никаких разговоров Ирина с Аликом не вела. То, о чем она и мечтать не могла, произошло: Тишорт общалась с Аликом и со всеми его друзьями так легко и свободно, что никому из них и в голову не приходило, какое сложное психическое расстройство перенесла девочка. Но теперь Ирина вряд ли могла объяснить себе самой, что заставляет ее проводить в шумном беспорядочном Аликовом логове каждую свободную минуту вот уже второй год.

Английская золотая рыбка, больше похожая на загорелого тунца, чем на нежную вуалехвостку, доктор Харрис, с которым Ирина тайно женихалась уже четыре года, приехавши на пять дней в Нью-Йорк, едва смог ее изловить и улетел обиженным, в полной уверенности, что она собирается его бросить… А это совершенно не входило в ее планы. Он был известным специалистом по авторским правам, занимал такое положение, что и познакомиться с ним для нее было почти невозможно. Чистый случай: хозяин конторы взял ее с собой на переговоры в качестве помощника, а потом был прием, на котором женщин почти не было, и она сияла на фоне черных смокингов как белая голубка среди старых воронов. Через два месяца, когда она уже и думать забыла об этой поездке в Европу, пришло приглашение на конференцию молодых юристов. Хозяин конторы долго не мог опомниться от изумления, но все же не заподозрил Харриса в интересе к своей миниатюрной помощнице. Отпустил Ирину на три дня в Европу. И теперь все шло к тому, что Харрис женится…

И здесь не какая-нибудь любовь-морковь, а дело серьезное.

Каждая женщина, которой исполнилось сорок, мечтает о Харрисе. А Ирине как раз исполнилось.

В общем, получилось глупо…

Вечером Ирина приехала к Нинке для разговора. Но в спальне топталась опять знахарка, заскочившая на пять минут перед отъездом, Нинка вокруг нее бегала. В мастерской, как обычно, сидел народ.

Ирина была голодная, открыла холодильник. Там было плоховато. В бумажном пакете из русского магазина лежал дорогостоящий черный хлеб, подсыхал сыр. Ирина сделала себе бутерброд. Выпила Нинкиной смеси – в этом доме все

почему-то начинали пить «отвертку», – апельсиновый сок с водкой… Наконец выползла Нинка.

– Так зачем тебе понадобился Готлиб?

– Какой Готлиб? – удивилась Нинка.

– О Господи, да ты же ночью звонила…

– А, он Готлиб. Я и не знала, что он Готлиб… Алик сказал, чтобы привезли раббая, – невинно сказала Нинка, а Ирина вдруг почувствовала прилив раздражения: чего она возится с этой идиоткой. Но она профессионально сдержала раздражение и мягко спросила:

– Да зачем ему раббай? Ты ничего не путаешь?

Нинка просияла:

– Да ты же ничего не знаешь! Алик согласился креститься.

Ирина от ярости зашлась:

– Нин, если креститься, то, наверное, священник нужен, а?

– Само собой! – кивнула Нинка. – Само собой, священник. Это я уже договорилась. Но Алик попросил… он хочет еще и с раббаем поговорить.

– Он хочет креститься? – удивилась Ирина, уловив наконец самое существенное.

Нина опустила узкое личико в костлявые, переставшие быть красивыми руки.

– Фима говорит, что очень плохо. Все говорят, что плохо. А Марья Игнатьевна говорит, что последняя надежда – креститься. Я не хочу, чтобы он уходил в никуда. Я хочу, чтобы его Бог принял. Ты не представляешь себе, какая это тьма… Это нельзя себе представить…

Нинка кое-что знала про тьму, у нее были три суицидальные попытки: одна в ранней юности, вторая после отъезда Алика из России и третья уже здесь, после рождения мертвого ребенка…

– Надо скорее, скорее. – Нинка вылила остатки сока в стакан. – Ириша, купи мне, пожалуйста, сока. А водки не надо, водку вчера Славик принес. Пусть твой Готлиб нам раббая приволочет…

Ирина взяла сумку, опустила руку в металлический судок, стоявший на холодильнике, – туда складывали счета. Там было пусто: кто-то уже оплатил.

5

О себе она говорила: я ставила на всех лошадок, в том числе и на еврейскую. Еврейской лошадкой был огромный чернобородый Лева Готлиб, которому удалось засунуть русскую Ирку в иудаизм, да не как-нибудь, а по полной программе, с субботними свечами, миквой и головным убором, который был ей, кстати, очень к лицу. Маленькая Тишорт была отправлена тогда в религиозную школу для девочек, которую, между прочим, до сего дня добром вспоминала.

Ирка проеврействовала два полных года. Учила иврит: способностями она была никак не обижена, все ей давалось легко. Ходила в синагогу и наслаждалась семейной жизнью. В одно прекрасное утро она проснулась и поняла, что ей смертельно скучно. Она собрала попавшиеся под руку вещи и немедленно съехала, оставив Леве записку ровно в два слова: «Я уезжаю». Позднее, когда Лева разыскал ее у старых друзей и пытался восстановить семью, она отвечала только одно: надоело, Лева, надоело. Это был последний ее каприз, а может, эмоциональный бунт – больше она не позволяла себе таких экстравагантных поступков.

Переехала в Калифорнию. Как она жила эти годы, нью-йоркским друзьям было неизвестно. Некоторые считали, что у нее был какой-то запасец. Другие подозревали, что ее содержит любовник. Толком никто ничего не знал: днем она носила английского стиля костюмы из льна и шелка, а по вечерам, нацепив перья и блестки, выступала со своим акробатическим номером в специальном месте для богатых идиотов. Цирковое училище было не фунт изюму – настоящая

профессия, не какой-нибудь PhD. Благодаря этой профессии по ночам она крутила ногами, а днем ворочала мозгами в юридической школе. В конце концов она ее окончила, пройдя положенный курс наук и научившись за эти годы вставать в половине седьмого, вместо сорокаминутной утренней ванны принимать трехминутный душ и не поднимать телефонной трубки прежде, чем автоответчик объявит ей, кто именно звонит; она получила место помощника юриста в солидной конторе.

Жила она в Лос-Анджелесе, с эмигрантами почти не общалась, говорила с легким английским акцентом, которому надо было еще научиться. Это было даже шикарно. Люди понимающие знают, что избавиться от акцента труднее, чем его изменить. Свою незамысловатую русскую фамилию она поменяла предусмотрительно, еще при получении первых американских документов.

Со времен ее шоу-карьеры у нее остались кое-какие артистические связи, и она привела с собой клиентуру. Не бог весть какую, но хозяин это оценил. Со временем он дал ей возможность вести дела самостоятельно. Она выиграла для него несколько незначительных дел. Для американского молодого человека такая карьера могла бы считаться неплохой. Для сорокалетней циркачки из России она была блестящей.

Бывшему мужу Леве развод тоже пошел на пользу. Он женился на правильной еврейской девушке из Могилева, не имевшей за спиной ни опыта цирковой акробатки, ни какого бы то ни было вообще. Большая, толстая и широкозадая, она родила ему за семь лет пятерых детишек, и это полностью примирило Леву с потерей Ирки. Рассудительная жена уверенно говорила подружкам:

– Вы же понимаете, всем нашим мужчинам по вкусу шиксы, но это до тех пор, пока они не имеют настоящую еврейскую жену.

Эта великая мудрость была последним пределом ее возможностей, но Лева не стал бы этого оспаривать.

Ирина довольно быстро разыскала по справочнику Леву, а когда попросила его о срочной встрече, он был сильно смущен. Два часа, покуда она добиралась к нему в Бронкс, он корчился от предчувствия большой неприятности или по меньшей мере неловкости, которую она с собой привезет.

Контора его была довольно замурзанная, но дело, которое здесь варилось, было придумано когда-то Иркой. Ее практический ум в сочетании с небрежной незаинтересованностью принес в свое время Леве удачу. Именно Ирка в самом начале их недолгого брака уговорила его вложить все имеющиеся у него деньги, с трудом сбитые пять тысяч, в рискованную и блестяще себя оправдавшую затею по производству кошерной косметики. В то время Ирина еще находилась в состоянии недолгого романа с иудаизмом, правда весьма смягченным и реформированным, но не забывшим о драматических отношениях молока и мяса, в особенности того, которое при жизни хрюкало.

Левушкина косметика еще только-только находила своих потребителей, когда Ирина, покрытая трефными бликами общеамериканской косметики, его покинула. Лева, вступив в новую полосу своей жизни, вскоре поменял ориентацию, изменив реформаторам с ортодоксами. Там был свой политический резон. Ему пришлось отказаться от производства грубых красок, оскверняющих благородные лица еврейских женщин, и он продал эту часть дела двоюродному брату, оставив за собой производство кошерного шампуня и мыла, а также научился производить кошерный аспирин и другие медикаменты. Вероятно, на свете существовало довольно много людей, которым эта идея не казалась сплошным надувательством.

Лева встретил Ирину на пороге своего кабинета. Оба сильно изменились, но изменения эти были обусловлены скорее не течением лет, а новым характером жизни. Лева располнел и стал как будто меньше ростом за счет ширины спины и раздавшихся щек, да и лицо утратило бело-розовый оттенок, напоминавший о молодом царе Давиде, и приобрело какой-то сумрачный цвет. Ирина же, ходившая в годы их брака в трикотажных майках с дыркой на плече и в длинных индийских юбках, метущих пол, поразила его журнальной безукоризненностью, жестким изяществом бровей и носа, твердостью подбородка и мягкостью губ.

«Жемчужина, настоящая жемчужина», – подумал Лева и, подумавши, сказал это вслух.

Ирина засмеялась прежним легким смехом:

– Я рада, Левушка, что тебе нравлюсь. Ты очень изменился, но, знаешь, неплохо, такой солидный капитальный господин.

– И пятеро детей, Ирочка, пятеро. – И он вытащил из стола маленький альбомчик с фотографиями. – А как Маечка? – вдогонку спросил он.

– Нормально, взрослая девица.

Она внимательно рассмотрела альбом, кивнула и положила его на стол.

– Дело у меня вот какое. Старый приятель, еврей, дружок мой еще по Москве, тяжело болен. Умирает. Он хочет поговорить с раббаем. Можешь это устроить?

– И это вся твоя проблема? – Лева испытал огромное облегчение, потому что все-таки подозревал, что Ирина хочет предъявить ему какие-то имущественные претензии, связанные с теми пятью тысячами, потому что тогда они были в браке… Он был человек порядочный, но обременен семьей и ненавидел непредвиденные расходы. – Если тебе надо, я приведу хоть десять. – Он смутился, потому что сказал глупость, но Ирина не поняла или не обратила внимания.

– Но это надо срочно, очень срочно, он совсем плох, – попросила она.

Лева обещал позвонить сегодня же вечером.

Он действительно позвонил вечером и сказал, что может привести замечательного раббая, израильского, читающего сейчас какой-то мудреный курс в Нью-Йоркском университете. И уже договорился, что приведет его к больному сразу после конца субботы.

Весьма примечательно, но никогда ничего не забывавшая Ирина начисто забыла, что еврейская суббота кончается в субботу вечером, и объявила Нине, что раббай придет в воскресенье утром.

Священник, отец Виктор, обещал прийти в субботу после всенощной. Нинка придавала большое значение тому, что священник появится первым.

Фима пришел к Берману очень поздно, без звонка, такая бесцеремонность была между ними принята. Их связывали давние отношения, отчасти и родственные. Родство было дальним, трудновычисляемым, по деду, но на самом деле это не имело значения. Важным было другое: оба они были врачи в том смысле, в каком люди урождаются блондинами, или певцами, или трусами, то есть по волеизъявлению природы. Чутье к человеческому телу, слух к движению крови, особое устройство мышления.

– Системное, – определял его Берман.

Оба они чуяли, какие качества характера в сочетании с определенным типом обмена тянут за собой гипертонию, где ожидать язвы, астмы, рака… Прежде чем начинать медицинский осмотр, они примечали, что кожа суха, белок мутноват, в углах рта – точечные воспаления…

Впрочем, в последние годы они мало кого осматривали, разве что знакомые просили.

В отличие от Фимы Берман, переехав в Америку, сдал все экзамены за два месяца, подтвердил свой российский диплом и поставил одновременно местный рекорд: никому еще не удавалось так быстро справиться с полным курсом медицинской науки. Сразу же он получил работу в одной из городских больниц. Здесь и познакомился на практике с американской медициной, отдавая ей по семьдесят часов в неделю, и она показалась ему столь же малоудовлетворительной, что и российская, но по другим причинам. Тогда он и нашел для себя область, в которой мог держаться подальше от американских врачей. Он их мало уважал.

Область эта была новая, только обозначившаяся.

«В России такого лет двадцать не будет, а может, никогда», – с огорчением думал он.

Называлась эта область радиомедицина. Это было диагностическое направление, сочетающее введение в организм радиоизотопов и последующее компьютерное обследование.

Как говорил сам Берман, последние остатки мозгов ушли у него на освоение этого современнейшего компьютера, последние остатки энергии – на добывание денег для его покупки и открытие собственной диагностической лаборатории, и последние остатки жизни он собирался потратить на выплату гигантских долгов, которые образовались в результате всех его усилий…

Дело его тем не менее шло хорошо, раскручивалось и набирало обороты, а все доходы шли пока на покрытие кредитов и выплату процентов, которые росли в этой стране быстро и незаметно, как плесень на сырой стене.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/lyudmila-ulickaya/veselye-pohorony

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить